

NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
MAR 29 1948
ASTOR LENOX AND
TILDEN FOUNDATION

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

1 CENT

N.Y. Public Library
42 St. 4 6th Ave.
N.Y.C.

ИТАЛИИ ПЕРЕДАНЫ 29 АМЕРИКАНСКИЕ ПАРОХОДОВ...

Вашингтон, 27 марта. — Во исполнение постановления Конгресса и приказа Трумэна, морское ведомство передало сегодня в Вильмингтоне итальянскому послу Тарчиаи 29 американских коммерческих пароходов. Уведут эти суда из Соед. Штатов итальянские команды.

АРЕСТЫ КОММУНИСТОВ В ИНДИИ

Бомбей, 27 марта. — В Западном Бенгале, остающемся в составе Индостана, произведены многочисленные обыски в коммунистических бюро и на квартирах коммунистов. Арестовано более 40 человек, в том числе — член провинциальной бенгальской законодательной палаты. Коммунистическая партия в Бенгале объявлена незаконной.

В Карачи (Пакистан), прибыла советская торговая миссия, обещающая закупить в значительных количествах хлопок, несмотря на обилие его в соседнем Туркестане.

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO, 243 West 56th Street, New York 19, N. Y.

ПЕРЕЛОМ

На непроглядный ужас жизни
Откры скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Все не смела в твоих отчаяньях.

А. Блок.

Как я стал журналистом? Начну рассказ от 1928 года, от города Канска, где я тогда учился. Кому случилось ехать по великой транс-сибирской магистрали Владивосток-Москва, тот, верно, помнит станцию «Канск — Енисейский». Лежит Канск в просторах восточной Сибири, среди хребтородных полей.

В 1928 году Канск жила мирной и благоуханной жизнью. На Базарной площади, вокруг пузатого белокаменного собора, пушились деревянные дары, балаганчики, в которых сидели китайцы, «хоты», высоченные желтые скуластые лица из занесенных шелковых ленточек, платков, чесуни и сарнишки. Кругом площади стояли приземистые, толстенные — все еще частные! — магазины Гадалова, Чевилена, Губина. На Серной площади было магазинное, но тоже шумела торговля: скрипели помы с сеном, шелкали бичани и языками киргизы в рыжих шапках и с хитрыми глазами — лошадиные, меняли, рекупились. Летними вечерами, в дыму и золоте заката, по улицам двигались стада коров, а в городском саду, под пыльными тополями, духовный оркестр 76 Карельского полка играл туги, ладэспаны, польку бабочку.

В Москве к тому времени были уже готовы сталинские планы переделки русской жизни; но в сибирском приволье ничто пока не предвещало на часа конца. Не было поминаний о колхозах, ни — следовательно — о «врагах народа». Начальник Канского ПТУ был писатель Афанасьев, состоявший одновременно председателем местной «литературной ассоциации». Маленький и хронически острый, он обладал неистовым остроумием, придумывал и пускал по городу анекдоты про полковников в узлах и начальников. Правда, летом 1928 года в Канск начали прибывать первые серьезные — троцкисты, но они не нарушили тихой и обдушенной жизни города. Приезжали они не в тюремных вагонах с решетками, а в мягких купе железнодорожного экспресса Столбы — Маньчжурия. Выгружались с чемоданами, бамбуковыми удочками, надуманными ридинскими лодками, — будто на ваханы. Афанасьев встречал их на вокзале и определял на частные квартиры. Кошачья с пансионом стоила 15 рублей в месяц, а троцкисты получали месячное пособие — 90 рублей.

Троцкисты пользовались полной свободой в пределах города. В дни революционных праздников — 1 мая и 7 ноября — в Канске, как и повсюду, устраивались демонстрации. Троцкисты были непримечательными участниками. Они выходили на площадь своей колонной, под красным флагом, и выстроившись неподалеку от трибуны, пели: Над Коминтерном флаг красный реет, Когда-то красный, теперь белее... Им не запрещали петь, их не удаляли с площади. Догадливый Афанасьев устроивал им другую каперзу. Когда демонстранты двигались от площади по главной улице, то оказывалось, что за колонной троцкистов идет маршаль: толстый брюхий капиталист в цилиндре, поп в клубке и расе, белый генерал с выпученными глазами и картонным мечем в поднятой руке... Видя за собой — сзади — смеющуюся редакцию, возмущенные троцкисты выходили из рядов, свистели знамя и отправлялись есть рыбу.

На премьеру городского театра какой-нибудь «Медвежья свадьба» Луначарского, троцкисты появлялись всею колонной. В креслах сидел худой и дерзкий, острый, как бритва, Федор Дингелштедт, исколесивший Европу и Азию, автор записки «Аграрный вопрос в Китае». Были и другие известные имена — журналисты, литераторы.

Нечетверг, скуки ради, поступил на службу. Дингелштедт преподавал в нашей школе историю. Аграновский пи-

сал фельетоны в уездной газете «Труд пахаря». Литературный кружок, называвшийся «КАПШ», красная ассоциация пролетарских (!) писателей, в полном единодушии признал Аграновского, как фактического руководителя. Не только мы, зеленая молодежь, но и сам Афанасьев, автор толстой рукописи, очутился перед ним в качестве ученика.

Политическая платформа троцкистов нас как то не интересовала. Привлекала та атмосфера столичности, которую они внесли в захолустье уезда, оставшего на 5.000 километрах от Москвы. Новая экономическая политика, провозглашенная Лениным, вызвала одушевление и в культурной жизни: печать не была унифицирована, возникли не-партийные и не-правительственные газеты и журналы, даже частные издательства, выступили с манифестами пестрые литературные группировки. В 1928 году в стране примеряли железные обручи, выкованные по сталинскому чертежу, но гайкой пока не закрутили: как-никак существовала литературные волюнтеры. Был «Левф» («левый фронт» — бывшие футуристы) со своим журналом. Были «конструктивисты», авторы сборника «Бизнес». Был «Передел» с альманахом. Был «Союз писателей». Были прочие «единые» писатели, не принадлежавшие ни к какой организации. В предгрозовую пору 1928 года прогрессивные слова: «генеральная линия», но Луначарский посылал, что хотя литератор и обязан в основном держаться «линии», он все же имеет право легию на юности. Нетрудно понять, как очаровывали нас слышавшие москвичи — литераторы. Юности! Право на юность! Терпимость, внимание... — всмотрись, разгляди, пойми.

Правда, молодежь по природе не склонна к терпимости: она — поларизована. В моей голове гнездились самые крайние убеждения: жил по лозунгу «да забравствует долой!» До той поры: «шопот, робкое дыхание, трели соловья...» — такое и лошади написала бы, если бы писала умею. Долгой психологической романы: довольно уж описывали, как Ваня прижимает Таню и что из этого получается? Долгой да долгой, а при чем же оставаясь в с? Новейшей идеей была идея «литературного факта». В Москве ее проповедовали Сергей Третьяков, что объяснялось особенностями его дарования: он писал индуктивные пьесы вроде «Рычи, Китая» и талантливые документальные книги, как «Дни Шихуа». На протяжении нескольких лет С. М. Третьяков преподавал русскую литературу в лекционном университете. Долгие годы он наблюдал одно из китайцев — студента по имени Дэн Шихуа. Жизнь «Дэн Шихуа», от рождения до трагической смерти, описана в полном, полностью документальном и, надо признаться, удельном «био-интервью».

Такая работа требовала терпеливого наблюдения и внимания — не только к внешним деталям, подробностям быта, но ко всему жизненному процессу. Надо уметь видеть жизнь в ее перебивающихся — поверхностях и подводах — течениях. Всмотрись, разгляди, пойми... *)

Мне было 17 лет. Деревенский парнишка из тайги, от саянских предгорий, и нигде не бывавший дальше Канска: ни разу не ездил по железной дороге. Вещи, люди, неважно и убого, томящие, томление первой любви и горечь первой неверности... — жизнь только открывалась предо мною. Ответить — как это пленяло юношеское воображение и как это до сих пор пленяет меня! Автор «Дни Шихуа», прослышав от 17-летним приержнице, при-

*) Надик мне попалась старая книжка французского писателя Жюль Верна Марк «Полгода в советской России» (1923 г.). Любопытно, что М. Мейергольд говорил о себе в театре факта «Вашей стране рабочий стал хозяином». Понимаете, что значит — хозяин? Он находит жить правдой и не желает жить никакой иллюзорности — только правдой. Он хочет ясно видеть все и всюду. — Он выметет ложь и из искусства. — Un immense besoin de faits envahit l'ame humaine.

сал мне книгу-новинку: «Литература факта», программную, теоретическую. В одном из писем ко мне он предложил: «напишите био-интервью о себе — о школе, о товарищах».

Приглядитесь к школьной жизни, какие сложные, противоречивые — порою, смешные, порою трагические — процессы. Комсомольская ячейка устранила жаркие, длившиеся ночами диспуты на тему: «Допустимо ли комсомолке пудрить Таню?» Танцы были запрещены, но существовал подпольный кружок «Ша нуар», по названию модного фокстрота. Был и другой тайный кружок — «Черные крылья» — программа которого состояла в... подголке к самоубийству. После того, как Сергей Есенин повесился на трубе от отопления в ленинградской гостинице, по всей стране прокатилась волна самоубийств. В нашей школе попадались девятиклассники — рослые детеныши, которые, бросив учить уроки, мрачно бубнили есенинские стихи: «В зеленый вечер под окном на рукаве своем поведаешь... «За партой девятилетки — так называлось «био-интервью» (теперь я предлагаю бы старинный термин — «физиологический очерк»). Писатель — фактовик Сергей Тре-

тихов дал идею очерка, она — лый журналист Лев Аграновский помогал практически — правил рукопись, браковал, ставил передельвать, наконец, журналист Александр Курс, — не опальный, а принадежавший к сибирской правде верхушке, — принял в печать первые мои с.р.р.р.р. Когда то Курс жил в Америке. Был журналист американской складки — культурно-репортаж. До того, как стать редактором краевой газеты «Советская Сибирь», он преподавал «Информацию» в московском институте журналистики. И от художественной литературы требовал конкретности, подлинности переживания. В Новосибирске основал «Настоящее» — журнал литературы факта. В редакторском кабинете Курс не засиживался — ездил из конца в конец по Сибири, тогда еще сельской, не раскоронованной «область» и «края». Приехал и в Канск — бритоголовый, в шершавой шапке, беседа со школьниками, тяготами к литературе, что нет иной школы для литератора — как писателя, так и журналиста — кроме школы жизни.

— Вот вы, к примеру, — ткнул он пальцем в меня. — Можете ли вы сказать, из ка-

кого меха моя шапка? — Выдра... — спокойно ответил я. — В прошлом году мы с отцом в Кировой протоке, возле нашей деревни, знала какую выдру поймали.

Курс ткнул пальцем наугад: мы не были знакомы. Но тут он насторожился: внимательно слушал, как я рассказывал, и замечает, как одно плечо в конвульсии медленно подымается и опускается, а комки земли безостановочно падают и заваливаются. Деталь страшная, и Суриков домыслит о Толстом, видел ли он это плечо когда-нибудь в жизни своими глазами. Конечно, видел! Не видел бы, не писал: «Любопытство Пьера взяло верх над ужасом, он не отвернулся и не закрыл глаза».

Курс положил руку на мое плечо и, подумывая, спросил, что же я собираюсь делать по окончании школы. Десятый класс выпускали и июне 1929 года: хотелось продолжать учение в Москве, в университет, а если не удастся — пойти в журналистику. Но вернее всего, — придется ехать учителем в какую-нибудь деревенскую школу.

— И это неплохо, — сказал Курс. — Поживите в деревне, побродите по всяческим дорогам в жизни. И мой вам совет — будет страшно смотреть, а не отворачивайтесь. Ни перед чем не закрывайте глаза! Жизнь моя, только выпустили ли из школы, началась стре-

жидно. Помните, Пьер Безухов заглядывает в яму, куда только что свалили трупы пленных, ресстрельных французам, и замечает, как одно плечо в конвульсии медленно подымается и опускается, а комки земли безостановочно падают и заваливаются. Деталь страшная, и Суриков домыслит о Толстом, видел ли он это плечо когда-нибудь в жизни своими глазами. Конечно, видел! Не видел бы, не писал: «Любопытство Пьера взяло верх над ужасом, он не отвернулся и не закрыл глаза».

Курс положил руку на мое плечо и, подумывая, спросил, что же я собираюсь делать по окончании школы. Десятый класс выпускали и июне 1929 года: хотелось продолжать учение в Москве, в университет, а если не удастся — пойти в журналистику. Но вернее всего, — придется ехать учителем в какую-нибудь деревенскую школу.

— И это неплохо, — сказал Курс. — Поживите в деревне, побродите по всяческим дорогам в жизни. И мой вам совет — будет страшно смотреть, а не отворачивайтесь. Ни перед чем не закрывайте глаза! Жизнь моя, только выпустили ли из школы, началась стре-

жидно. Помните, Пьер Безухов заглядывает в яму, куда только что свалили трупы пленных, ресстрельных французам, и замечает, как одно плечо в конвульсии медленно подымается и опускается, а комки земли безостановочно падают и заваливаются. Деталь страшная, и Суриков домыслит о Толстом, видел ли он это плечо когда-нибудь в жизни своими глазами. Конечно, видел! Не видел бы, не писал: «Любопытство Пьера взяло верх над ужасом, он не отвернулся и не закрыл глаза».

Курс положил руку на мое плечо и, подумывая, спросил, что же я собираюсь делать по окончании школы. Десятый класс выпускали и июне 1929 года: хотелось продолжать учение в Москве, в университет, а если не удастся — пойти в журналистику. Но вернее всего, — придется ехать учителем в какую-нибудь деревенскую школу.

— И это неплохо, — сказал Курс. — Поживите в деревне, побродите по всяческим дорогам в жизни. И мой вам совет — будет страшно смотреть, а не отворачивайтесь. Ни перед чем не закрывайте глаза! Жизнь моя, только выпустили ли из школы, началась стре-

жидно. Помните, Пьер Безухов заглядывает в яму, куда только что свалили трупы пленных, ресстрельных французам, и замечает, как одно плечо в конвульсии медленно подымается и опускается, а комки земли безостановочно падают и заваливаются. Деталь страшная, и Суриков домыслит о Толстом, видел ли он это плечо когда-нибудь в жизни своими глазами. Конечно, видел! Не видел бы, не писал: «Любопытство Пьера взяло верх над ужасом, он не отвернулся и не закрыл глаза».

КТО ОН: ШИГАЛЕВ? ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ? СМЕРДЯКОВ? ВЕРХОВЕНСКИЙ?

М. Вишняк.

Напечатанный в последней книжке «Нового журнала» очерк мой о Вишняковском вызвал ряд откликов — печатных, письменных и устных. Взятые вместе, они, мне кажется, дают интересный материал для размышления о художественном произведении Достоевского — морально-политическом обрисе Вишнякова.

Почти все отклики касаются моего сравнения Вишнякова с «бесом» Шигапелем. Каждый из критиков, иногда весьма благосклонных, дополняет, поправляет или возражает против моего сравнения Вишнякова с Шигапелем.

Так М. Е. Вейнбаум, одобрив написанный мною «портрет Вишняковского», нашел, что я «люблюсь в своего героя» и «в процессе работы изображал его более крупной личностью, чем он есть на самом деле. Большевиком породил много Шигапелых. И в Сталине сидит Шигапел. Но я не вижу его в Вишняковом. Шигапел — фанатик, Вишнякий — реалист. Шигапел верит в свою идею, у него собственные мысли и своя «система». У Вишнякова ничего собственного нет. Он безудержный карьерист, на крови построивший личное благополучие, исполнитель чуждой воли и проводник чуждых ему идей».

И далее: «Споры нет, Вишнякий умен и способен. Он, может быть, презирает и не любит тех, кто стоит выше него на большевистской лестнице, но в этом у него больше сходства с «лукавым паре дворяном» Василием Шуйским, чем Шигапелем» («Нов. Рус. Слово» от 14 января).

Тот же смысл имеют и замечания другого лица, сделанные публично, но в устном порядке. Вишнякий «маленький, маленький человек, лишний всякой идеи... Ну, как же идея у Вишняковского?» Доброжелательный критик из Парижа дает свой образ Вишняковского. «Ну, какой же он Шигапел? У Шигапела была убогая и гнусная, но все же теория, что-то свое: не даром говорит о шигапелстве, как о чем то оригинальном. Уж если искать Шигапела, то это скорее сам Ленин. А Вишнякий? Он просто ласковый и хитрый, и «вишнякизм» означала бы не теорию какую-нибудь, а просто хитрость. И незачем было для него уходить от «Братей Карамановых» к «Бесам». «Бесы» для него слишком много чести: бес он никакой, а просто Ленинообразный братец Ивана Караманова — Смердяков. Дан Смердякову должно

юридическое образование, по статусу на «высокий пост» и по лунтизм Вишнякий».

Другой приятель из амери канского северо- западного университета сопровождает свои комплименты замечанием: «Давно ли вы перечитали «Бесов»? Если Вам придется писать о Вишняковском или о советском суде, загляните в те страницы, где пьяный Лебидкин появляется в доме Старогиных и где Верховенский заставляя его при всех отказываться от признания того, что Старогин женат законным браком на его (Лебидкина) сестре. Сцена эта, идущая в порядке вопроса, поразительно напоминает сцену, приведенную в Вашей статье».

В ге нимальном произведении Достоевского изображал Лебидкина — Караманова и Верховенского — Вишняковский и всю технику этих «сознаний», всю их издевательскую пытку».

И, наконец, последний, более пространственный отклик из Колорадо. «Я думаю, что Вы, и Ваши оппоненты — обе стороны не правы. Неправы потому, что Вы ведь рисуете портрет Вишняковского в плане психологическом, между тем как у Шигапела нет чего «психологического» нет. Это персонаж чисто логический, строящий определенную теорию. В описании Шигапела (вопреки своей гениальной способности «показывать» людей, Достоевский описывает Шигапела, а не показывает, или если показывать, то со стороны, а не со стороны, которую мы находим в нем, что делало бы его фигурой морально — отравительной; характеристика его «ушам» не

убедительна. «Я не говорю о его теории, которую он излагает, как учение социолога, и которая является логическим продолжением идеи Раскольникова и похватывается Иваном Карамановым, — эта теория безграничной свободы и безграничного деспотизма, конечно, отравляет. Все ugyanis для характеристики шигапеловщины цитаты Вы в своей статье приводите, но сам он в этой шигапеловщине никакого места себе не оставляет, не заявляет претензий на то, чтобы быть в числе «одной десятой», как это делает П. Верховенский».

Больше того, Шигапел «смеет» протестовать против убийства Шатова «для общего знания» и уходит из собрания «не из страха опасности... а единственно потому, что это дело... буквально противоречит моему программе. Насчет же доноса и покаяния от правителя с моей стороны можно быть совершенно спокойным: доноса не будет». «И тогда наступит земной рай», говорит Шигапел, т. е. та «счастливая красота», которой он вдохновляется в своем «фурь ермезе».

«Скажите, разве это похоже на Вишняковского? Разве Вишнякий смеет протестовать? Разве Вишнякий не доносит?»

Но если уже искать аналогии у Достоевского, то даже не со Смердяковым, а с Петром Верховенским сравнил бы Вишняковский. Шигапел — логика, но психология этой логики (простите за такое выражение) перенесена в Верховенского. Петр Верховенский сам не создает ни теории, ни систем как Вишнякий, но в шигапеловщине, которую он признает гениальной, себе он определяет место наверху. В советской шигапеловщине и Вишняковский таят вверх, и, чтобы изобрести туда, он не останавливается ни перед какими средствами, как и Верховенский, и готов даже «Лизу привезти». И так же как Верховенскому нужен Иван Шаренч (Ставрогин), так и Вишняковскому нужен «соловей — Сталин», потому что сам-то он «не социалист, а мошенник».

Но все же и здесь дальше этого в сравнении идти не следует, так как Верховенский в своем «эпическом» преображении теории Шигапела также увлекается идеалом «демоинической красоты». А Вишнякий чем вдохновляется?..

Что касается Ивана Караманова и даже Смердякова, то даже последний стоит выше Вишняковского: и Иван Караманов и выросший из него Смердяков добиваются до недоступной высоты человеческой мы-

сли, и каждый вывод из мысли, как например: нет Бога, значит все дозволено, — добыают путем огромного душевного напряжения.

Смердяков снижает до своего «хамского» уровня все идеи Караманова, а идею — все по зволено — до отвратительно го уголовного дуроступления. Но когда он, как ему казалось, убыл из-за денег, он понял, что это только «мечта», что ему нужно было только убедиться, что он может «преступить пить», — и он возвращается де нгами.

Разве Вишняковский возвращает деньги, убедившись?.. Нет, они подобны бесам, «изобретательным, омерзительным, лживым и полым». И нет тут места ни мистике, ни мета физике. Вишнякий — просто карьерист!.. Да, да, прост тот базильный карьеризм, не соразмерный с теми поистине ужасными средствами, которыми им применяются. Или его в самом деле гонят «страх»?..

Повторю: наши споры основаны на недоразумении — о Шигапеле, как о типе психологическом, родственном Вишняковскому, говорить не приходится. Этот тип Достоевским не дан. А для шигапеловщины Вишнякий приспособлен, очень хорошо. Ведь он обладает не дюжими способностями, как и Петр Верховенский. Еще два слова о сходстве с Петром Верховенским, шигапеловщином, хихикающим и суевающим бесом. Эти черты Андрею Вишняковскому не были свойственны. Но может быть в советской среде он научился «вишнячить и хихикать».

Что могу я сказать в свое оправдание или в защиту сравнения Вишняковского с Шигапелем?

Прежде всего, что мои оппоненты говорят много верного и, противореча друг другу, подкрепляют меня.

Затем — несколько «общих мест». Сравнение не есть уподобление и неправильно подходить к моей аналогии с тем, что дано в творчестве Шигапела. На пояска: «двадцатипятилетний коммунист, посланный из промышленных центров на деревенскую работу. В газете, издур сменявшей безобидное название «Труд пахаря», печаталось оперативные сводки из деревень: кривые, диаграммы, процентные соотношения — колхозники, середняки — индивиду, раскулаченные... 70-летний отец мой, имевший два сына и пять десятин пашни, сидел в тюрьмах. На железных обручах наивничали гайки: «Настоящее», «Левф» — закрыли, всяческим «перевальцами», «конструктивизмом», «единым» при казали — не быть. Александр Курс был смещен с поста редактора краевой газеты, исключен из партии, а немного спустя арестован и сослан на казачью торговлю. Пошел в лагерь и Сергей Третьяков. Исчез и Афанасьев, обвиненный в пособничестве «врагам народа». В Канске ходили слухи, что в узелном управлении ПТУ, в соответствии с новыми заданиями сталинской эпохи, перебору

жизнь. Помните, Пьер Безухов заглядывает в яму, куда только что свалили трупы пленных, ресстрельных французам, и замечает, как одно плечо в конвульсии медленно подымается и опускается, а комки земли безостановочно падают и заваливаются. Деталь страшная, и Суриков домыслит о Толстом, видел ли он это плечо когда-нибудь в жизни своими глазами. Конечно, видел! Не видел бы, не писал: «Любопытство Пьера взяло верх над ужасом, он не отвернулся и не закрыл глаза».

Курс положил руку на мое плечо и, подумывая, спросил, что же я собираюсь делать по окончании школы. Десятый класс выпускали и июне 1929 года: хотелось продолжать учение в Москве, в университет, а если не удастся — пойти в журналистику. Но вернее всего, — придется ехать учителем в какую-нибудь деревенскую школу.

— И это неплохо, — сказал Курс. — Поживите в деревне, побродите по всяческим дорогам в жизни. И мой вам совет — будет страшно смотреть, а не отворачивайтесь. Ни перед чем не закрывайте глаза! Жизнь моя, только выпустили ли из школы, началась стре-

жидно. Помните, Пьер Безухов заглядывает в яму, куда только что свалили трупы пленных, ресстрельных французам, и замечает, как одно плечо в конвульсии медленно подымается и опускается, а комки земли безостановочно падают и заваливаются. Деталь страшная, и Суриков домыслит о Толстом, видел ли он это плечо когда-нибудь в жизни своими глазами. Конечно, видел! Не видел бы, не писал: «Любопытство Пьера взяло верх над ужасом, он не отвернулся и не закрыл глаза».

Курс положил руку на мое плечо и, подумывая, спросил, что же я собираюсь делать по окончании школы. Десятый класс выпускали и июне 1929 года: хотелось продолжать учение в Москве, в университет, а если не удастся — пойти в журналистику. Но вернее всего, — придется ехать учителем в какую-нибудь деревенскую школу.

— И это неплохо, — сказал Курс. — Поживите в деревне, побродите по всяческим дорогам в жизни. И мой вам совет — будет страшно смотреть, а не отворачивайтесь. Ни перед чем не закрывайте глаза! Жизнь моя, только выпустили ли из школы, началась стре-

жидно. Помните, Пьер Безухов заглядывает в яму, куда только что свалили трупы пленных, ресстрельных французам, и замечает, как одно плечо в конвульсии медленно подымается и опускается, а комки земли безостановочно падают и заваливаются. Деталь страшная, и Суриков домыслит о Толстом, видел ли он это плечо когда-нибудь в жизни своими глазами. Конечно, видел! Не видел бы, не писал: «Любопытство Пьера взяло верх над ужасом, он не отвернулся и не закрыл глаза».

жизненным разворотом — и толчками, толчками. На «максиме», товаро-пассажирском поезде, — первом поезде в моей жизни, — поехал я в Москву. На рассвете, в Красноярске, меня встретил агент ПТУ. Помню, как меня удивило: только и выскочил на перрон, посмотрел Красноярский вокзал, как он, в штатском пальто и кепочке, подошел прямо ко мне и спросил: — Коряков, Михаил Михайлович?

Перетащил из вагона к себе в кабинет мои вещи, велел раздеться, обмылся, ошупал. Искал, нет ли на мне бумажки канских серьезных троцкистских для передачи в Москве. Не найдя ничего, опять посадил в вагон.

В Москве я был на приеме у Вышинского, тогда начальника Главпрофобра при Наркомпросе. Просился в университет — Вышинский отказал. В моем аттестате об окончании школы, в графе «общественно-политическая работа», была пометка: «идеологически ненадежен, насаждал есенинщину».

Попал в Новоросийск: поехал у причалов и порту — краяха хлеба и томик стихов Пастернака под головою. На бульварной мостовой меня подобрала карета скорой помощи. Положили в больницу, а осенью отравили в Канск по казенному литеру. Получил на значение — учителем в Кириенский округ. Кириенск — маленький городок на острове в среднем течении Лены — имел газету «Ленская правда». Штат «Ленской правды» состоял из одного редактора: он был правник, выпускающий, корректор. Доведаясь, что в занесенной снегом деревенские живет молодой учитель, печатавшийся в «Настоящем», он потребовал, чтобы меня отпустили в газету.

Добрых две тысячи километров от Кириенска до железной дороги. Аппаноча в те годы не существовала. Единственный путь сообщения — река Лена. Жили от парохода до парохода. Осенью, пока шла шуга и не установился санный путь, только по телеграфу узнавали, что творилось в мире. Кончался 1929 год. Газету завалили телеграммами: речь Сталина на конференции аграрников-марксистов, статья Сталина «Од великого перелома». Мир ломали. Кончилась восстановительный послевоенный период, прошедший под знаком Ленина. Открывалась новая — сталинская — эпоха. Новая война, «революция сверху», которую Сталин впоследствии приравнял по историческому значению к революции 1917 года, начавшейся «снизу». По плану, придуманном наверху, разрешивалось наступление «социализма»: код лективизация, выкорчевывание частной — капиталистического сектора в городе и деревне. К насильно, совершенному в 1917 году над народной революцией, прибавилось новое, гораздо худшее насилие — над всей жизнью народа.

В Кириенске я пробыв до весны. Только растяла Лена, поплыл домой, не зная, что там случилось за зимние месяцы. От недавней — добродушной и благодушной — жизни в Канске не осталось и следа. Понаехали новые люди — в кожаных куртках с наганами на поясах: «двадцатипятилетний коммунист, посланный из промышленных центров на деревенскую работу. В газете, издур сменявшей безобидное название «Труд пахаря», печаталось оперативные сводки из деревень: кривые, диаграммы, процентные соотношения — колхозники, середняки — индивиду, раскулаченные... 70-летний отец мой, имевший два сына и пять десятин пашни, сидел в тюрьмах. На железных обручах наивничали гайки: «Настоящее», «Левф» — закрыли, всяческим «перевальцами», «конструктивизмом», «единым» при казали — не быть. Александр Курс был смещен с поста редактора краевой газеты, исключен из партии, а немного спустя арестован и сослан на казачью торговлю. Пошел в лагерь и Сергей Третьяков. Исчез и Афанасьев, обвиненный в пособничестве «врагам народа». В Канске ходили слухи, что в узелном управлении ПТУ, в соответствии с новыми заданиями сталинской эпохи, перебору

жизненным разворотом — и толчками, толчками. На «максиме», товаро-пассажирском поезде, — первом поезде в моей жизни, — поехал я в Москву. На рассвете, в Красноярске, меня встретил агент ПТУ. Помню, как меня удивило: только и выскочил на перрон, посмотрел Красноярский вокзал, как он, в штатском пальто и кепочке, подошел прямо ко мне и спросил: — Коряков, Михаил Михайлович?

Перетащил из вагона к себе в кабинет мои вещи, велел раздеться, обмылся, ошупал. Искал, нет ли на мне бумажки канских серьезных троцкистских для передачи в Москве. Не найдя ничего, опять посадил в вагон.

В Москве я был на приеме у Вышинского, тогда начальника Главпрофобра при Наркомпросе. Просился в университет — Вышинский отказал. В моем аттестате об окончании школы, в графе «общественно-политическая работа», была пометка: «идеологически ненадежен, насаждал есенинщину».

Попал в Новоросийск: поехал у причалов и порту — краяха хлеба и томик стихов Пастернака под головою. На бульварной мостовой меня подобрала карета скорой помощи. Положили в больницу, а осенью отравили в Канск по казенному литеру. Получил на значение — учителем в Кириенский округ. Кириенск — маленький городок на острове в среднем течении Лены — имел газету «Ленская правда». Штат «Ленской правды» состоял из одного редактора: он был правник, выпускающий, корректор. Доведаясь, что в занесенной снегом деревенские живет молодой учитель, печатавшийся в «Настоящем», он потребовал, чтобы меня отпустили в газету.

Добрых две тысячи километров от Кириенска до железной дороги. Аппаноча в те годы не существовала. Единственный путь сообщения — река Лена. Жили от парохода до парохода. Осенью, пока шла шуга и не установился санный путь, только по телеграфу узнавали, что творилось в мире. Кончался 1929 год. Газету завалили телеграммами: речь Сталина на конференции аграрников-марксистов, статья Сталина «Од великого перелома». Мир ломали. Кончилась восстановительный послевоенный период, прошедший под знаком Ленина. Открывалась новая — сталинская — эпоха. Новая война, «революция сверху», которую Сталин впоследствии приравнял по историческому значению к революции 1917 года, начавшейся «снизу». По плану, придуманном наверху, разрешивалось наступление «социализма»: код лективизация, выкорчевывание частной — капиталистического сектора в городе и деревне. К насильно, совершенному в 1917 году над народной революцией, прибавилось новое, гораздо худшее насилие — над всей жизнью народа.

В Кириенске я пробыв до весны. Только растяла Лена, поплыл домой, не зная, что там случилось за зимние месяцы. От недавней — добродушной и благодушной — жизни в Канске не осталось и следа. Понаехали новые люди — в кожаных куртках с наганами на поясах: «двадцатипятилетний коммунист, посланный из промышленных центров на деревенскую работу. В газете, издур сменявшей безобидное название «Труд пахаря», печаталось оперативные сводки из деревень: кривые, диаграммы, процентные соотношения — колхозники, середняки — индивиду, раскулаченные... 70-летний отец мой, имевший два сына и пять десятин пашни, сидел в тюрьмах. На железных обручах наивничали гайки: «Настоящее», «Левф» — закрыли, всяческим «перевальцами», «конструктивизмом», «единым» при казали — не быть. Александр Курс был смещен с поста редактора краевой газеты, исключен из партии, а немного спустя арестован и сослан на казачью торговлю. Пошел в лагерь и Сергей Третьяков. Исчез и Афанасьев, обвиненный в пособничестве «врагам народа». В Канске ходили слухи, что в узелном управлении ПТУ, в соответствии с новыми заданиями сталинской эпохи, перебору

жизненным разворотом — и толчками, толчками. На «максиме», товаро-пассажирском поезде, — первом поезде в моей жизни, — поехал я в Москву. На рассвете, в Красноярске, меня встретил агент ПТУ. Помню, как меня удивило: только и выскочил на перрон, посмотрел Красноярский вокзал, как он, в штатском пальто и кепочке, подошел прямо ко мне и спросил: — Коряков, Михаил Михайлович?

Перетащил из вагона к себе в кабинет мои вещи, велел раздеться, обмылся, ошупал. Искал, нет ли на мне бумажки канских серьезных троцкистских для передачи в Москве. Не найдя ничего, опять посадил в вагон.

В Москве я был на приеме у Вышинского, тогда начальника Главпрофобра при Наркомпросе. Просился в университет — Вышинский отказал. В моем аттестате об окончании школы, в графе «общественно-политическая работа», была пометка: «идеологически ненадежен, насаждал есенинщину».

Попал в Новоросийск: поехал у причалов и порту — краяха хлеба и томик стихов Пастернака под головою. На бульварной

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Памятью сердца

В одном из московских обзоров, посвященном «Поэзии молодых», мне довелось написать о том, что наряду с послевоенным лирическим героем, который зарегистрировался у литературного начальства и «бодро» включился в строительство четвертой пятилетки, нехожеными тропами бродит по стране, заглядывая и в литературу, другой, более близкий сердцу современников герой из многомиллионного «фронтового сословия». О нем в своих воспоминаниях в январской книжке журнала «Новый мир» рассказывает Евгения Воробьева «Нет ничего дороже».

Впервые имя этого писателя появилось в 1946 году, когда в «Новом мире» напечатан был его рассказ «Однополчане». Хотя сюжет его незамысловат, от него остается теплый след. Действие «Однополчан» происходит уже в мирные дни, где-то в Белоруссии. Подполковнику Мозжухину поручено руководство занятиями призывных. Оглядывая их, он вспоминает «чуждое русское слово юнбратцев», нелюбимая, почему его «естественно» употребляют «внутри гасетки» и писатели. Один из «юнбратцев», крестьянский парень из далекой сибирской деревни, Иван Коротков, просит Мозжухина рассказать, как погиб на войне его отец, Артем Коротков, служивший под его командованием. О гибели отца сообщила семье Короткова однополчанка, вспоминая при этом, что покойный Артем хвалил Мозжухина и говорил: доведись — не дай Бог — Ванюшке поехать, лучшего командира он ему не желает. Когда Иван признался теперь на военную службу, он добился у военкомата назначения в полк Мозжухина. Главная похвала неизвестного красноречива: листик Мозжухину, но он никак не может вспомнить ни как выглядел боец, ни при каких обстоятельствах он погиб. Чтобы не огорчить сына, он тут же на месте придумывает правдоподобно звучащую историю его гибели. Но совесть не дает ему покоя, и он тщательно перебирает в памяти все смерти, свидетелем которых он был. Неожиданно вырывается случай. Мозжухин любит незамеченным подслушивать беседы солдат. Так было и в этот раз. Сблизды расположились ужинать на полянке в лесу. Один из них рассказывает о том, как он недавно ездил с целой делегацией в Москву и как их там принимали. Один из слушателей, заирский паренек, подтрунивая над хвастливым «делегатом», говорит, что об этой поездке звонили по всей Москве «в три лаптя», а по территории во время езды в Московском метро «защитники от партизан» размышляли по радио. Поглядывая на стоящего на коленях в траве Ивана Короткова, усердно улетавшего кашу, заирский паренек шутит: «Мимо не проносишь: у тебя рот как раз по дороге». Иван в тон паренюку отвечает: «Как работать — мальчишка, как обедать — мужик». И эти слова воспевают в памяти Мозжухина стертую картину из недавнего прошлого войны: вот так же, как сейчас Иван Коротков, стоя на коленях, бережно, по-крестьянски, ел суп широкочелючий, бородатый солдат, когда часть Мозжухина в брод перешла Неман, и теми же словами он миролюбиво огрызнулся на шутку соседа, а несколькими часами позже был убит, заслонив собою Мозжухина. Сомнений быть не могло. Мозжухин вспоминал и место, где похоронили Артема.

Новый рассказ «Нет ничего дороже» продолжает тему — «Памятью сердца», — намекая и «Однополчанам». По ее окончании войны, бывший старший лейтенант сапер Левашов дал себе слово навещать белорусскую деревушку «Большие Нитяжи», около которой погиб, вызвавшись вме-

сто Левашова выполнить одно боевое задание, его товарищ Скорняков. Подойдя к деревне, Левашов издала видит обелиск за оградой и хохлик, лиловый от колокольчиков. Надпись на дощечке гласила, что здесь покинута нашедшей смертью храбрый старшина Скорняков. Из беседы с председателем колхоза Иваном Лукьяновичем Левашову одно ясно, что имя Скорнякова здешним людям ничего не говорит.

Узнав от Левашова, что он не начальник, не «уполномоченный», приехавший мучить людей каким-нибудь дотошным обследованием, а человек сам по себе, Иван Лукьянович даже и лицом просветлел и перешел с ним на «ты». Левашов решает пронести свой отпуск в «Больших Нитяжах». Отпуском своего героя пользуется автор, чтобы поделиться впечатлениями о послевоенной деревне.

Следы войны и разорения еще видны на каждом шагу: в стороне от деревенской улицы, «под кономом обугленных яблонь», ржавеет немецкий танк; неподалеку, около печи, сложенной под открытым небом, привычно орудует женщина ухватом. Выется дымок из под земли, так как немало еще людей ютится в землянках и траншеях; не думали саперы, прилежно мастерившие бандижи в несколько накатов, что труд их даст приют людям и после войны. В уцелевших избах живет по несколько семей. Перед высоким порогом из в качестве приступок лежат снарядные ящики. Приходят бабы с ведрами на коромыслах, а под ведром приспособлены снарядные стаканы. Во многих избах мелют муку на ручных мельницах. Бедна послевоенная деревня...

Приехавшего «ядло» эскортируют восхищенные ребятишки, двое из них выжили, быть адютантом Левашова. Белоголовый Санька одет в домашнюю рубашку, не знающую пуговиц; одна штанина спускается ниже шиколотки, другая, с бахромы внизу, едва прикрывает колено. Второй мальчик, постарше, важно предстает Левашову как Павел Ильич; он одет в какие-то фантастические штаны — галифе и гимнастерку не по росту; на голове у него пилотка, которая держится на распорных ушах. Санька еще совсем ребенок, а Павел Ильич любит изображать бывшего человека. Он, повидимому, действительно уже знает жизнь. Когда один из крестьян, бывший фронтовик Строчун, отказался пообщаться с Левашовым, а тот все так угостил его папироской, Павел Ильич мрачно заметил, что зря Левашов такому парню дает, у него бы он в немичий снегу бы не допросился».

Из бесед с мальчуганами и позже с Иваном Лукьяновичем Левашов узнает, что у деревни пропадает зря огромная дугонья, которую ухаживают из деревни немцы успели заминировать. После войны деревня известна об этом районный центр, просит прислать саперов. Но в центре ответили, что «Большие Нитяжи» должны жалеть своей очереди. Левашову приходит мысль чем-нибудь увековечить в деревне память погибшего за него Скорнякова. Он раздобывает нужную материю и приступает к работе. Но окончивши напряженной работы, во время которой ему постоянно помогают юные его адютанты, в деревне устраивается торжественное собрание. На нем Левашов рассказывает о боях, происходивших в 1944 году в районе Больших Нитяжей и о том, как справился с порученным заданием старшина Алексей Скорняков. Когда Левашов дошел до места, как было найдено обугленное тело героя, люди не стеснялись встать, обняв его. Начальник расприкрыл. Одна, молчаливая на вид, но совсем седая женщина, спра-

сила: «Не осталось ли после Скорнякова жены и «добреньких детей». Они могли бы приехать сюда на поправку и пусть не сомневаются в том, как их тут примут. Но Скорнякову было всего двадцать два года, когда он погиб и после него осталась только мать, живет она где-то на Урале, в Уфеле, не то в Верхнем, не то в Нижнем. Что же, говорят люди на собрании: «И мать примем со всем сердцем. Сами сынов лишили. Поплачем вместе».

Хотелось собраться чем-нибудь отблагодарить и Левашова за очищенный от мин луг: «Может, у тебя у самого дочка или сынок маленький дома живет в неудобстве?» — спрашивали люди, заверяя, что будут за ними присматривать, «не хуже, чем за своими». Закончилось собрание решением назвать деревенскую школу именем Алексея Скорнякова и посылать об этом бумагу в райисполком. К этой резолюции старик Анисим внес еще дополнение, встречное всеобщим одобрением: «Пусть каждую осень, как только выучата в школу соберутся, приходит в класс председатель колхоза Иван Лукьянович или другой стоящий человек из фронтового сословия и пусть вместо первого урока расскажет выучатам про «далюкую Отечественную войну и про божьего раба Алексея, который поконил в нашей земле. И пусть выучата наши и правнуки, стоя, прослушают рассказ про нашего героя, царство ему небесное».

«Дороже ничего нет» — еще не удостоилось отзыва критики. Критики любят повести с большим охватом событий, с горизонтами и водами, с поминанием коммунистических «родителей, учителей и всех не душек к познанию блага». Все это этого нет в рассказе Евг. Воробьевой. Память сердца участника великих народных испытаний уводит писателя с шумной литературной магистральной, по которой шмыгают «виллисы» и «студебекеры», ответственных работников на тихую проселочную дорожку, по которой шагают рядовые люди, не могущие забыть тех, кто отдал за них свою жизнь.

В. Александрова

КТО ОН: ШИГАЛЕВ? ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ? СМЕРДЯКОВ? ВЕРХОВЕНСКИЙ?

(Начало на 2 стр.)

Кей? Сталина. Шуйский измнил многократно. Шуйский — только раз, но навечно. Шуйский домогался высшей власти, венчания на царство. Шуйский же — прощения былых хреков и вознесения до тех ограниченных пределов советской иерархии, которые положены неписанным большевистским уставом. Шуйский и в — активный участник в заговоре против власти (против Названного Дмитрия). Шуйский на бунт против «законной» власти не способен.

И тут надо сделать замечание, относящееся ко всем сравнениям одинаково. Все персонажи, с которыми сравнивают Шуйского, исторические или литературные, существенно отличаются от нашего «героя» тем, что эти персонажи борются или замыслили борьбу против существующей власти, тогда как Шуйский стоит за существующую власть, уже достигшую своих целей и признания. Это одно обрекает все сравнения на известную условность, относительность и призрачность. Можно ртуть забрызгать заранее от всяких аналогий и сравнений, но допускать их и пользоваться ими, нельзя к ним прибегать явно не осуществимые требования.

Может быть, Шуйский не помнит скорее Смердякова, нежели Шигалева?

Готов согласиться, что в нем многое и от Смердякова, что подобно Смердякову, в изображении Фетюковича, Шуйский — «зловонное, непонятное, честодобное мстительное и завистливое существо, ненавидящее свое (политическое) происхождение (от меньшевиков) и стыдящееся его». Но Смердяков был в то же время и большим человеком, страдал падуцей, был «слабоумным, с пачками смутного образования, сбитым с толку философским идеями».

Пожой этот Смердяков на Шуйского?

К тому, что в защиту Смердякова говорит у Достоевского прокурор, Ипполит Кириллович, и с другой стороны, мой оппонент из Колорадо, я прибавил бы еще следующее. Как ни гнусен Смердяков и как ни робок он, «грусил как курна», он все же до конца не индифферентен, и находит в себе решимость и мужество покончить со своим гнусным существованием. Можно ли в чем-либо усмотреть, чтобы и Шуйский «совесть замучила», как пишет в уголовной хронике?

Нельзя не упомянуть и о том, что в речи Петра Верховенского, близкого сподвижника Крыленко в роли председате-

льствующего. Когда же Шуйский занял место Крыленко, он превзошел своего предшественника в искусстве извлечения у подсудимых признаний и оговоров.

«Идеи» Шуйского была в другом. Подробнее я говорил об этом в статье «Государство по Ленину и под Сталиным», напечатанной в «За Свободу» № 18. Вкратце эта «идея» или «система» Шуйского сводилась к «идее» Шигалева: «Было бы безграничной свободой, я заключаю безграничный деспотизмом». Иными словами: осуществление социализма совместно с самой жестокой полицейщиной.

Накануне прихода к власти Ленин утверждал: «Мы все не расхотимся с анархистами по вопросу об отмене государства, как цели». Он не дождался «полной победы социалистической системы хозяйства», закрепленной в сталинской конституции 36 года. Но он подчеркнул: «когда становится возможным говорить о свободе, то идет государство, как таковое, перестает существовать».

СССР давно уже провозгласил партию свободы, и там и только там, по советским уверениям, возможно говорить о свободе. Тем не менее, государство СССР не только не перестало существовать, но провозглашено высшей и абсолютной ценностью. С Шуйским Шуйского в первые ряды советской знати в советской печати стали появляться заглавия передовых в духе Гегеля или Бисмарка: «Идеи» рессы государства превыше всего».

Шуйский знает свой «еще стою» в советском строе, поэтому свою идею он приписывает, конечно, «скорфею науку» — Сталину. «Величайшая заслуга товарища Сталина перед наукой и человечеством (!) заключается в том, что он развил марксистско-ленинское учение о государстве и подал необходимость дальнейшего укрепления социалистического государства в условиях капиталистического окружения и пришел к выводу о необходимости сохранения государства при коммунизме в случае, если сохранится капиталистическое окружение» (Большевик, февраль 47 г. № 3).

Пишется «Сталин», но разуметь надо, конечно, Шуйского. Реакционнейшей «идеей» совмещения свободы на словах с тиранией на деле «наука и человечество» обязаны, конечно, не одному Шуйскому, но и другим — «многим Шигалевым». Но Шуйскому, едва ли не единственному грамотному юристу на верхушке советского Олимпа, «наука и человечество» обязаны за проработку «идеи» больше, чем кому-либо другому.

Я готов признать, что Ленин был главным «бесом» или дьяволом в ряду многих Шигалевых. Готов признать, что Шуйский сродни не одному то Шигалеву. Но продолжая думать, что с Шигалевым у него больше общего, чем с теми, с которыми его сравнивают мои критики — благожелательные и неблагоприятные.

М. Вишняк

Победа Пушкина

Во всем мире есть только один человек, одержавший победу над большевиками, в том числе и над Сталиным и заставивший их отступить. Это Пушкин.

Никакого сочинения Пушкина не расхотили в таком огромном количестве экземпляров как теперь, никогда еще слова поэта о том, что к нему не зарастет «народная тропа» не находили себе такого оправдания как в наши дни. Пушкин только теперь стал по настоящему народным поэтом.

Советская власть выпускает в огромном количестве его произведения в дешевых народных изданиях и в дорожных с рисунками выдающихся художников.

Выходит много книг, посвященных той или иной стороне биографии и творчества поэта. Все статьи о Пушкине пишутся теперь в восторженном тоне.

Но если мы оглянемся на как-нибудь двенадцать лет назад или еще более того, обернемся к двадцати годам, то перед нами предстанет совершенно иная картина. О ней запрещено вспоминать в советской печати, которая держится так, будто советская власть, в отличие от царской, с самого начала признала Пушкина величайшим национальным гением и любимейшим народным поэтом.

Но тем больше оснований извлечь из забвения то, что писалось о Пушкине в двадцатых годах и начале тридцатых.

В учебнике «Русская литература», предназначенном для школ и изданным в 450.000 экземпляров, поясняется, что «в изображении Пушкина Онегин, представлен сложный продукт столетнего светского дворянства. Неудовлетворенность, тоска Онегина, его душевная пустота — закономерное порождение жизни дворянства».

При этом и сам Пушкин объявлялся классово враждебным элементом, чуждым эпохе пролетарского социализма.

Позже к юбилею Пушкина в 1937 году, когда советская власть после долгой «классовой» борьбы с Пушкиным вынуждена была под мощным напором народного увлечения резко переменить свое отношение к Пушкину, в «Известиях» было напечатано письмо красного партизана Петрова:

«В 1920-1924 годах пишу этому эти строки случилось обучаться в Институте народного образования, где в одной из аудиторий велась длительная споры о Пушкине. Не в меру рьяные ораторы громко и кричали, что Пушкин не наш, Пушкин барский поэт, его творчество — для слащавых кич гимназистов и епархиалок старой школы, идеологический хлам».

Или вот суждения о Пушкине, относящиеся уже к началу тридцатых годов и процитированные в Институте новой русской литературы при Академии Наук. В этой дискуссии приняли участие признанные и видные специалисты по новой русской литературе.

Г. Левелин доказывал, что Пушкина надо рассматривать как «художественного идеолога буржуазного слоя среднего помещичьего дворянства».

«Такое понимание социальной сущности творчества Пушкина на мой взгляд, продолжает Левелин, снабжает нас прожектором, которым можно осветить все грани, все противоречия, все изгибы сложнейшего творчества великого поэта».

«Буржуазная подоплека пушкинского фольклора и антидемократичности говорит Левелин, видна невооруженному глазу. Но столь же буржуазен и прославленный гуманизм Пушкина».

В таком направлении и духе велась классовая борьба с Пушкиным вплоть до начала тридцатых годов. Советская власть надеялась, что ей удастся и у учащихся и у всего народа отбить вкус к Пушкину и научиться смотреть на него, как на классового врага. Но она скоро убедилась, что тщетны надежды и что Пушкин, несмотря на классовую колочую проволочку, все гуще и шире проливал и самую толщу и гущу народа.

С середины тридцатых годов советская власть сдает свои позиции и прекращает классовую борьбу с Пушкиным. Он уже объявляется не выразителем классовых идеологий помещичьего или буржуазного дворянства, а великим национальным поэтом, и народу дается высочайшее разрешение читать его и почитать.

Пушкин победил по всей линии. Сдалось с боем советское правительство. Просто по всей литературной линии был отдан приказ: кругом марш, и, конечно, все зашагали в противоположном направлении.

Теперь уже начали обличать не Пушкина, а вчерашних его критиков, разоблачавших его не только как класового врага, но и как «дворянина», как придворного поэта Николая Гоголя.

В 1936 году в «Красной Новинке» появляется острое и злое стихотворение Сергея Шенцова, издающееся над вчерашними литераторами, по повелению советского правительства разоблачающим классовую и реакционную природу Пушкинской поэзии и его самого.

Это забытое стихотворение слишком длинное, чтобы приводить его целиком.

Отрагнемся наиболее яркие строки:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
Расскажет правунам мой друг пушкиновец,
Как рабобествовал я перед царской кляпкой,
Тираним облаканный поэт.
И долго буду тем любезен я народу,
Что всей душой я презирал свободу,
Что воспевал я гнет и произвола
И царь меня в лакеи произвел.
Пусть говорят, народом он любим.
Столетний юбилей наш
праздник общий
Для тонких знатоков он просто
подалим,
Приспособленец, трус и
лакировщик.

Сергей Шенцов в этой прозе в стихах все свое жало направил против зловещих литературоведов. Но они ведь только выполняли правительственную «установку», «социальный заказ» по отношению к Пушкину, как нынешние советские литературоведы вынуждены травить и изобличать Ахматову и Зощенко. Начиная со середины тридцатых годов, когда приближался столетний юбилей Пушкина, советская власть круто изменила эту установку, отказавшись от борьбы с Пушкиным, так как борьба эта оказалась бесплодной — правительственная борьба, а Пушкин одерживал все более громкие и великие победы в сердцах и умах широких народных масс, не обращавших никакого внимания на тех антипушкинских литературоведов, которых так зло потом высмеивал Шенцов.

Но могло быть это только потому, что Пушкин — не современник Сталина. Будь он современником, будь он жив, Жданов с ним расправились бы в гораздо большей степени чем с Ахматовой или Пастернаком.

Можно быть разного мнения о чисто политическом взглядах Пушкина. Он не был политическим мыслителем, еще меньше политическим борцом. Но одно бесспорно — каждое слово его дышит любовью к свободе и ненавистью ко всякого рода рабству и террору. Поэтому Пушкин от декабристов до наших дней служил и служит великим вдохновителем и учителем борьбы за волю, против гнета, холопства, рабства.

Декабристы вдохновлялись Пушкиным. В бумагах каждо-

го из декабристов, писал Жуковский Пушкину, «находишь стихи твои». И Якушкин рассказывает, что декабристы «зачитывали наизусть» стихи Пушкина.

Во время Сталина и Жданова эта вдохновляющая роль пушкинской поэзии еще несравненно более велика чем во времена декабристов. Когда от поэтов и музыкантов требуют, что бы они перелажали на стихи и музыку передовые статьи «Правды» и сочиняли восторженные оды и кантаты во славу Сталина и когда русские поэты вынуждены подчиниться этому, как бы наслаждением припадая они к стихам Пушкина и как они счастливы, что стихи эти существуют.

Когда Пушкину предложили написать восторженные стихи в честь гусарини Елизаветы Алексеевны, Пушкин ответил известными стихами:

На лире скромной, благородной,
Земных богов я не хвалю,
И слава, в гордости свободной,
Свободу лишь учась славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить,
Стыдливой музою своей.

Как бы счастливы были бы русские поэты эпохи сталинского коммунизма, если бы они могли повторить эти слова, сказанные во время царизма.

Создалось положение, когда советское правительство издает в миллионах экземпляров сочинения Пушкина и вынуждено провозглашать его величайшим национальным гением, когда Пушкин служит величайшим примером и учителем, у которого надо учиться не только тому, как надо слагать стихи, но и как надо защищать честь и достоинство культуры.

И тут же то же советское правительство, издающее в миллионах экземпляров Пушкина, устами Жданова приказывает превратить эту самую культуру в закрепощенную служанку темных политических махинаций.

Неудивительно, что современный русский читатель отворачивается от самоповеи советской поэзии, как от рифмованной прозы статей «Правды».

Уже в 1937 году, в год Пушкинского юбилея В. В. Вересаев напечатал в «Известиях» результаты произведенной им анкеты об отношении широкой народной массы к Пушкину. В числе многих других, служивший Я. Фетисов писал в этой анкете о советских поэтах Сталинской формации: «Читая со временников, в особенности поэтов, становится тошно. И противопоставлял им Пушкина».

А учитель Лоскутов пояснял в этой анкете, что народная масса сама проложила себе дорогу к Пушкину.

«Массовый советский читатель, писал он, почувствовал и оценил Пушкина сам. В школьных программах до недавнего времени от Пушкина оставались лишь ножки, да рожики. Современная критика умерщвляла Пушкина».

Умерщвляла, но не победила. Победа Пушкина. Единственный человек, одержавший победу над Сталиным и с разрешением Сталина покорявший русские умы и сердца.

П. Берлин

Париж.

ОТРЫВКИ ИЗ НЕПИСАННОГО

«В повести так много пид, что из нее можно было пить спирт».

«Так много трудился над проблемой омоложения, что составились ранние времена».

«И от легкой музыки иногда становится тяжело на душе».

«Человек с точным адресом: его хата с краю».

«Живет с оглядкой. Во времена рыцарства он, несомненно, носил бы шит сады».

«Перед походом на подлинник, как сто медных копеек, ходят на серебряный рубль».